



Наталия
Шушанян

НЕДОЛГИЙ ВЕК

Наталия Шушанян

Недолгий век

«Эдитус»

2024-2026

Шушанян Н. Р.

Недолгий век / Н. Р. Шушанян — «Эдитус», 2024-2026

ISBN 978-5-00217-858-2

В новый сборник московской поэтессы Наталии Шушанян вошли стихи, написанные в 2024-2026 годах. Данный поэтический цикл знаменует собой этап в творческой эволюции автора, иллюстрируя переориентацию его творчества на философскую, гражданскую и религиозную лирику, пронизанную историософскими размышлениями и осмыслением драматургии эпохи.

ISBN 978-5-00217-858-2

© Шушанян Н. Р., 2024-2026

© Эдитус, 2024-2026

Содержание

«Мне, чтобы руку тебе пожать...»	6
«Сад закружило в звонком безголовье...»	7
«Над сонной чащей выкипел состав...»	8
«Белая радуга – это, пожалуй, черта невозврата...»	9
«Идти меж домов, где карнизы...»	11
«Все повторилось, но наоборот...»	12
«Отмотай эту ленту назад, до садовых ворот...»	13
«Что старый мир? Отречённый. Усталый. Проигранный...»	14
«То жесткий гнет, то тяжесть плит...»	15
«Эта шляпа – винтажная штука...»	16
«Сегодня будто выходной...»	17
«Еще не тронутый металлом...»	19
«Есть вещи посерьезнее, чем кроны...»	20
«В этой местности воздух...»	22
«Там, где древняя баба...»	25
«На ладонях ожог саванны...»	27
«Это ты англичанское эхо...»	28
«В пространстве нет ни швов, ни очертаний...»	29
«Жесть седьмого числа...»	30
«Ныряешь ты спешно в свой воротник...»	31
«Мы утечем из тесноты...»	32
«Пустое гадание – искать в букваре...»	33
«Опять эти сумерки. Снег, как подтирка...»	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Наталия Шушанян Недолгий век. Стихи



**Издательство Эдитус
Москва**

© Шушанян Н.

© Оформление. ООО «Издательство Эдитус», 2016

«Мне, чтобы руку тебе пожать...»

Мне, чтобы руку тебе пожать,
тысячи надо пройти верст.
Проще, наверно, луну удержать
за серебристый хвост.
Дорога петляет, уходит в кювет,
времени – целая фляжка.
Я оставляю в глине след,
знаешь, шагать мне тяжело.
Мне бы форсировать этот предел,
вырваться из оцепления,
вот и ладони, на них алеют
валёры от сновидений.
Там, где туман наползает на гать,
в старой ольховой запруде,
я научусь тишину запрягать
в серые будние будни.
Встреча – то выстрел, всполох в ночи,
пламя в сыром чернолесье,
сердце, как кузница, гулко стучит
в этом сыром поднебесье.
Пусть между нами заставы и ров,
ветры и льды вековые, —
я доберусь до твоих берегов,
лишь бы ладони живые.

«Сад закружило в звонком безголовье...»

Сад закружило в звонком безголовье,
и ливня бьется переменный ток,
и пеленает вечер грузное сословие
промокших крон и согнутых осок.

Гляди: весна в зрачке сиренью зреет,
и каждый блик – как выдох на юру.
течет лазурь, и воздух тяготеет
уйти стремглав в летящую дыру
меж явью и предчувствием разрыва,
где тополя срывают якоря,
и страсть кипит безбрежно и ворчливо,
как в чёрной пене соды и угля.

Не называть, не трогать эту тайну,
закутанную в мокрый воротник,
всё в этом мире вечно и случайно —
и этот блеск, и этот краткий миг.

И нет конца, и топот по ступеням,
а в зеркалах – то лица, то штрихи,
мы отданы на растерзанье теням,
что превращают обморок в стихи.
И пахнет ночь чернилами и снегом,
и шестерней небесного кольца
швыряет нас за призрачным ковчегом,
где свету нет предела и конца.

«Над сонной чашей выкипел состав...»

Над сонной чашей выкипел состав
межзвездных руд, и содрогнулись оси,
там Орион, от вечности устав,
свои доспехи в ельник перебросил,

и сбился почерк млечного пути,
сместились знаки, спутались орбиты,
и внятный гул идет из темноты,
дробя обломки фактов и событий.

Посмотришь вверх – там рушатся медведи,
ссылая ковши в ледяную воду,
а на земле в предчувствии трагедий
размыты тропы в скользкие породы,

и всё застыло в центре перемен,
и в каждой искре – громовые вести,
так Орион, всю бездну взявший в плен,
меняет нас. А небеса – на месте!

«Белая радуга – это, пожалуй, черта невозврата...»

Белая радуга – это, пожалуй, черта невозврата,
знак, что материя в небе высоком окончательно смыта, —
будто предчувствие близкой потери, в разломах заката
память о солнце живет, но прохладой ночи сокрыта.

В верхних слоях атмосферы, где и шёпот становится эхом,
из разных пустот и лакун, и остывшего праха
ей вьется наряд, а Земля, оглушённая зимним успехом,
сквозь блеклое небо на это взирает без всякого страха.

Космос роняет крупницы солей на замёрзшие ткани,
вместо короны в зените стынут обломки кристаллов.
Движение воздуха стихло, и в этом ночном молчании
радуга дремлет. И вот засияла,

на верность огню и грядущему дню присягая,
но тут же и сникла – едва различима впотьмах —
без всякого следа растворяясь с самого края,
мелодии света теряет в еще неоткрытых окрестных морях:

Вслозь мильную лавель, туй лильную незь,
вде лели лимея вуднали,
мны сельсимся влесно навекно ил днесь
люлицем му нельмости свали.

Незвлушное враддсе
зиминой зувает,
квак урно весель изволот бут атланы,
милень уваднаем вердсой отбуланы,
взвимаем импирой меланы.

Ду палесью всклизло ан рут вскленеветь
влозь мильную вельную прометь,
лиму отилело булавель винеть
ин стель наинаной инкролить.

Ин верне тур мидлица овает тулнеть —
вскрычнает уняной зеняной,
лон жажа лувана дерзлает хмырзеть
одвельной зоридной маляной.

Аффектиль? Лон мрынит валимой борой,
вседаю овиным квалтахом,
урлнится клеверой замильный приой
визурно винейным мелахом.

«Идти меж домов, где карнизы...»

Идти меж домов, где карнизы
держат остатки дождя,
висят фонари как эскизы
прежних, угасших вчера,

глядеть, как витрины зевают,
лица в них не скользят,
буквы на них уплывают,
привычный теряя ряд,

как статуя сдвинула плечи,
уставши впервые стоять,
хоть издавна голубь беспечный
ее не желал признавать,

рельсы уходят не прямо,
они передумали вдруг,
ночь, неровная рама,
тревожно сжимается в круг,

вывеска с чьим-то портретом,
срываясь, смущая анфас,
место ищет под светом,
свет, сомневаясь, погас,

ни шага в арке, ни шороха,
стынет в бессилии излом,
воздух на узких опорах
городу стал потолком,

крылатый малец к мостовой
метнулся, моргнул, растворился,
город не спит, городской
блуждающий нерв заблудился.

«Все повторилось, но наоборот...»

Все повторилось, но наоборот:
фонарь, аптека, улица,
и не истина в вине, а вино —
в истине. К чему ей сутулиться,
когда в ней одно?
Какие смутные предчувствия,
когда безжалостно горит зенит?
Незримое присутствие?
И тишина вполне звенит,
смычки не рвут случайных нежностей,
и дамы, — не вуаль, а плоть,
и в этой самой неизбежности —
как камень, пламя и щепоть.
Не хаос мчит над бездной гулкой,
а строгий, ледяной январь,
и жизнь течет по переулкам —
аптека, улица, финал.

«Отмотай эту ленту назад, до садовых ворот...»

Отмотай эту ленту назад, до садовых ворот,
до калитки, заросшей сырой медуничной травой.
Для чего мне писать в твой проигранный год,
в век, охваченный шквалом и стылой зимой?

Знаешь, в чьих временах, под навесом густых лопухов,
всё шуршат по ночам твои вещи, страшные сны?
Как ты там? Твой рассвет задохнулся от наших грехов?
Я пишу из твоей же, но очень далёкой весны.

От весны до весны – для уставших богов придуманный бег,
где бездушная плоть примеряла бессмертные знаки
и топила народы в кромешном, безжалостном мраке...
Позади и смирителя час, и разорванный надвое век.

Были новые боги – прозрачны, напевны, чисты,
расправляли крыла, присягали рассветным лучам!
Но ломались хребты, каменели в граните черты,
и, пугаясь машин, птицы падали по ночам...

Что наш город? Прекрасен! Витрины зеркальный зрачок
отражает впотьмах тоску и надорванный век.
Но пока твоё сердце стучит в этот бледный листок —
от зимы до весны я иду, я ещё человек.

А весна? Здесь всё так же струится туман,
и рассветные звезды медуница прячет в траве.
То, что ты предсказал, – и восторг, и великий обман —
всё сбылось: мы одне в этом мире, поэт, мы одне.

«Что старый мир? Отречённый. Усталый. Проигранный...»

Что старый мир? Отречённый. Усталый. Проигранный.
Пахнет театром, кровью, бензином и розами.
На память и выдержку тобою он выверен
с его колдовскими обманами и грозами.

В узких мансардах, у чёрного
лака,
целовал ты актрису, задыхаясь в полночи,
а за окном, в переулках, качалась и плакала
взвесь, состоящая из пророчеств и горечи.

И распластанный век расползлся ногами,
и кони хрипели у дождливой заставы Лиговской,
и завтра вскипало – с его пулемётами,
а себе оставлял ты Ибсена и Стриндберга.

Кто это придумал? Какой сумасшедший ремесленник
выбросил ваши тела из мрамора белого
в обреченное время, чтоб ветер-кудесник
тебя омывал одного, уже онемелого?

По выжженным книгам, по редким обугленным знакам
грядущие вечности выстроят рухнувший космос —
а над забытым, наглухо запёртым прошлым
вспыхнет рассвет – с театром, кровью, бензином и розами.

«То жесткий гнет, то тяжесть плит...»

То жесткий гнет, то тяжесть плит,
(а кто сказал, что век целит?),
и лагерь был, и фронт горел,
а век на все это смотрел,
он был длиннее, чем тоска,
он грыз гранит и жег шелка,
он был как медленная казнь,
он сам к себе внушал боязнь,
сто лет прошли – кому глоток,
кому в гортань – беды выюрок,
вчера – пожар, сегодня – пыль,
и всюду – яростная быль.
А ветер крутит белый снег,
ведь век – безумный человек,
то путь тягуч среди теней,
то век не век, лишь горстка дней:
не помня страшный свой ночлег,
он был таков – недолгий век.

«Эта шляпа – винтажная штука...»

Эта шляпа – винтажная штука
(смотрю, ладонью по фетру скользя),
в это слово вкручена мука
с резьбою, с которой шутить нельзя.

Винт истории, туго закрученный в кость,
эпохи вращал по спирали обид:
то в плоть человека впивался гвоздь,
то клеймо выжигалось на румянце ланит.

Виноватых искали в дыму деревень,
на крутых поворотах, у края траншей...
А винтаж – это просто забытая тень,
это выдержка времени в шуме дождей.

Это память, осевшая пеплом на дне,
это – старое, терпкое, злое вино.
Если истина, о мой поэт, и вправду в вине —
то в винтажном скрывается глубоко.

И покуда не стихла былая гроза,
та, что крутит вихри черных теней,
я пройду по тропе, припрятав глаза
под серой винтажной шляпой своей.

«Сегодня будто выходной...»

Сегодня будто выходной
седьмого круга и пространства,
и сумрак встал, как налитой,
внутри немого постоянства,

и вдоль послушных проводов
вползает вечер из подвала,
не задевая потолков,
он всюду бродит, как хозяин,

и пыль качает в полутьме,
как память, сбитую на ощупь,
ему раздолье в тесноте,
ему владения не ропщут,

вот на стене он сдвинул тень,
и сбросил блики с полотна,
их утопивши в темноте,
они воскреснут, но пока

он, вытолкнув из полутьмы
углы, картины, стёкла,
стирает губкой всем черты
и на куличиках у черта,

а если шорохи в стене,
и кто-то двигает обои,
так пустота на глубине
себя считает плотным слоем,

пройдись, не глядя за плечо,
там холод, тени и повторы,
и режет холод горячо,
а он не должен, он лишь холод,

не лезь в чужую темноту,
пускай тебя не распознают,
еще не время за черту,
пусть вечер сам себя теряет,

лишь взгляд останови в проёме,
Momento morior¹, но пока,
наутро в треснувшем объёме

¹ Умереть в одно мгновение

проснётся целая река.

«Еще не тронутый металлом...»

Еще не тронутый металлом,
мир пил туман у хладных рек,
и в мезозое запоздалом
дрожал замшелый берег-век,
лишайник полз по рёбрам скал,
и кость гигантская белела,
а ветер запахи ища,
качал пустые колыбели.
Из чрева мглы, из дикой глины,
в пещерах побеждая страх,
шел человек к чужим долинам
и оседал на берегах,
и камень искрой отзывался,
плоть одевалась в мягкий мех, —
не мог ведь разум догадаться,
что жизнь — какой-то тяжкий грех,
и пальцы робко мяли землю,
слагая жертвенный алтарь,
и человеку будто внемля,
молчал в тени рогатый царь.
А время множило ряды,
вставал из ила крепкий дом,
ведь у чеканной бороды
кирпич рождался под огнем.
Мир спал в тени колоссов древних,
и бронза плавилась в огне,
а в душных комнатах моельных
жрецы шептались о войне.
И рухнул свод, с песком и гулом
смешав и письменность, и медь,
народы в шторм седой шагнули,
чтоб в черной бездне умереть
и новые воздвигнуть своды
над прахом выставших костров,
на веки вечные «сплотит» народы
сиянье мертвых катастроф.

«Есть вещи посерьезнее, чем кроны...»

Есть вещи посерьезнее, чем кроны:
пока пичуга крутит головой,
пока рассказывает ворон про законы,
идет работа
в толще вековой —

стоят два дерева, — хоть разные на вид
и часто спорят, но не ведут учет,
предвидя тяготы слепой судьбы,
а выполняют
сложную работу,

скрепляя крни — без лишних поз,
без разговоров, без пафоса и свит,
и пусть вокруг никто не зрит угроз
и крепостей не стоит
для борьбы.

Одно — стройнее, второе крепко
сбито,
а под землей, где не видать ни зги,
они сплетают в узел скрытый
корней своих
узорные круги.

И вот удар! Не просто дождь и
слякоть,
а ураган со стороны морей,
несущий время плакать, падать,
крушит ряды он
стройных тополей,
ломает даже крепкие породы,
и валит дуб, срывает гибкий вяз,
и стонет бор, а ветра грозный рокот
березы гонит с корнем
на погост,

вся роща слышит горький ропот
летающих в бездну белых кос.
А эти двое, не сложенные роком,
стоят надежно
в лютый этот час,

не голос держит их и не права,
и вовсе не величие их крон, —

живой крепеж, замок суставов,
иная связь,
покрепче, чем бетон.

Гроза утихнет, отходя
по кругу,
покой осядет на побитый склон.
Два дерева потянутся друг к другу,
единый матери-земле
даря поклон.

«В этой местности воздух...»

В этой местности воздух
и прозрачен, и чист,
пахнет мятой и прелым
заброшенным садом,
здесь упрямые сосны,
их таинственный хруст
стерегут горизонт подвижным
фасадом:

то природа не знает своих рубежей,
растекаясь дремотой по ровному
лону,
то поутру рассвет, становясь
все рыжей,
подчиняет пространство иному
закону.

Припадаешь к земле, и гудит глубина,
и пласты чернозема сжимаются туго,
там подземные воды, лишённые сна,
затевают беседу друг с другом,

сквозь суглинок протиснувшись
и варево руд,
там субстанции спорят
в заброшенных склепах:

«Я к закату лечу, там меня сберегут
золотые поля и ковыльные степи.
Мне по сердцу покой и смиренная
поступь,
я хочу растворяться в расплавленном
свете.

Я несу через время свой плавный
напев,
в нем Коломна и Суздаль, и белые
стены,
и резной боголюбовский ясный
предел
не боится ни бурь, ни холодных
измен.

Мой удел – это глина и сонный
камыш.

тяжелые баржи пусть скользят
по затону.
Я люблю эту славную русскую тишь,
в ней течешь, поклоняясь святому
канону.

Я впитала полынь, я исчезну как мера,
распуская течением солнца клубок,
в погибель напрасную, в ярость
не веря,
даже если нависнет безжалостный
рок

и погонит коней второпях по костям,
я заглажу рубцы своей тихой волною,
мне б отдать свой покой всем полям
и степям,
эту землю спасая от вечного зноя.

Я хочу доползти до широкой Оки,
разнося свои мягкие, тонкие нити...
Ну а там, где сцеплялись в узлы
буревые полки,
я свой свет погашу в долгожданном
зените!»

«Ну а я, —
голос слышен другой реки, —
Выбираю разрыв и полночные сети,
я смываю молчание с остывшей
земли,
мне предписано мчаться на север,
где ветер.

Там каленый металл превращают
в угли
звонящие стужи.
Мне яростный повод
вгрызаться в гранит на крутом
берегу —

мои сны.
В них шведы хрипели в тяжелых
кольчугах.
Я волною снесу преграды в снегах,
мне не нужен покой твоей южной
округи.

Мне по сердцу раскаты,

пусть и хищная мгла.
Я – беглянка, не знавшая рабского
плена.
Там, где полночь варяжские искры
зажгла,
на камнях пусть проступит
замерзшая пена.

Я помчусь через Клин, задевая
хребты,
где согласные звуки простуженно
лают.
Мне не надо твоей соловьиной черты
—
мне на севере стрелы огнем
расцветают!»

И расходятся реки на мили, кляня
монотонность и живость славянских
просторов,
а великая Волга все катит века,
накрывая собою бессмысленность
споров

с океанским размахом, в державном
порыве
и ярость смывая,
и кроткие сны,
в поцелуе одном и в объятии едином
воды живые мешает —
Клязмы реки и реки Сестры.

«Там, где древняя баба...»

Там, где древняя баба
в рваном бреду
на рогожу свалила рожденный
приплод,
там стези закрутились
на хрустальном пруду,
и пути высвятили искомый свой
ход.

И рядили они, и делили они:
сколько всыпать в судьбу диких искр
костра?
Сколько полночной тиши?
Сколько дать ей беды, сколько доли
святой?

И бездонность,
и меру
славянской души —
будто в зелье мешали
из пепла и трав,
примеряя к векам то огонь, то покой,
смирение смещая и буйственный
нрав...

И веси вливались
широкой рекой!
Заклинаниями был выслан
раскидистый путь —
тот, что мчится рассвету навстречу,
где вдыхают мелиссу
и в смиренную грудь
принимают иконные свечи,
где баюкает колос певучую гладь,
где древляне вязали кружева,
чтоб свет вековой в благодать слова
превращал...

Но с южного оврага кричала
неродящая хмарь,
клича раскатанный в шеломы металл
и топор с бородой,
и каленый январь усмирал огнем
мятущийся вал!

И глядели созвездия с неба
впотьмах, как лютая стужа
на северный лад
высекает огонь на студёных ветрах,
и литовские стрелы ложатся
в распад.
В темных колодцах, где слепла земля,
узлом изощренным вязался затвор...
И шепот сочился, и эхом заря
зачинала не раз
огневой разговор.

Слетались кукушки
на ветки рассвета,
песни кричали в родимых лесах,
манили теплом уходящего лета —
был холод зимы в кукушинных глазах!

И калина вскипала рубиновой
кровью!
И солнце давилось
на рассвете
багрянцем!
Сухим ковылем в бешеном танце
годы слепые плели для веков
изголовье!

Стонала земля от палящего зноя,
в дыму задыхался дремлющий дол.
И вздымался шатром над колыбельным
покоем
раскаленный до белых снегов
ореол.

«На ладонях ожог саванны...»

На ладонях ожог саванны,
в затылочной доле – лед,
мы вышли из красной ванны,
где время костями поет,
нас было – гость и пепел Тобы,
в бутылочном горле – судьба,
а мы всё-таки выжили, чтобы
друг друга брать за рога,
мы в горло вживали скрипки,
кулаки меняли на миф,
ошибки – опять на ошибки
(что нам первобытный призыв?),
мы вымерзли-вымерзли все же,
ледяных человеков судьба,
теплая плоть, гладкая кожа,
ДНК – с кусочками льда,
столетие тянет снова
в багровую муть времен,
и по кругу: сначала – слово,
после – хрипы да стон.

«Это ты англичанское эхо...»

Это ты англичанское эхо
в потайной запрятал ларец?
Оно и оттуда мешает вехам
размыкать эти тьмы сердец:

ишь, голландскими бредят тюльпанами,
тюрбан – он тюрбан завсегда,
уложить бы на дно окаянное
непутевые все поезда,

чтобы полночь пошла из Клина,
оседлав грозовой хребет,
пока времени гильотина
рассветный кромсает свет, —

пусть на стыках стального слога
выстилается путь из глубин,
а на нем – росой чертовой
серебристо сверкает клин,

а проспешь, и пропустишь – лавиной
из-за всяких дальних столиц
хлынет альп ледяная глина
на расшатанный затвор ресниц.

А вот и утро плывет из Лобни,
замедляя ночной паром,
мы с тобой на площадке лобной
хорошо так стоим, вдвоем.

«В пространстве нет ни швов, ни очертаний...»

В пространстве нет ни швов, ни очертаний,
пространство дышит как один большой массив,
а миг живуч природой восклицаний,
он разбивает ледяной мотив:
как яростно и как необратимо
взбухает почка – жизни черновик,
пространство спит,
оно необозримо,
но вот в него влетает хриплый крик,
порывом жизни и отваги,
и время вязнет, словно колея,
но вдруг вскипает чувственная влага,
и вот побег уже натянут как струна,
цепляет воздух, требует права,
он весь
рождение, ярость и весна,
вот под ногами стелется трава,
в ней каждый штрих пророчески нацелен,
и капли бьют в развинченный затвор,
и задыхается в бреду тяжелый ельник,
вчера вступивший с тишиною в уговор.

Пространство спит,
оно необозримо,
но вот в него влетает хриплый крик:
«Где деньги, Зина?»

«Жесть седьмого числа...»

Жесть седьмого числа
Вдоль ложбины легла,
Там косая метла
Все углы обмела,
Оттого что вода,
Разодравши бока,
Утекла в никуда,
Как густая река,
И теперь под пятой
Мелко скалится медь,
Ей приказ непростой —
Не дышать, а звенеть,
Мастер дегтем поддал
На дырявый подол,
Чтоб и стар, и млад,
В эту кузницу шел,
Хочешь вейся как дым,
Хочешь гирей застынь,
Над огнем золотым
Разливается синь,
Жизнь идет в коробок,
Искру поднеси,
И наступит срок,
Иже-еси на небеси,
И железо нутром,
Распахнувшись в зенит,
Под небесным шатром
Кричит и звенит,
А осьмого числа
Золотая руда
Осадила бока,
Дыбом встала вода,
Уняла колоброд,
Будет воля твоя,
И из черных болот
Вышла гарь бытия,
По остывшей меже,
Разгоняя нагар,
Петляет уже
Золотой самовар.

«Ныряешь ты спешно в свой воротник...»

Ныряешь ты спешно в свой воротник,
тебе тишина – подмога,
сейчас ты измеришь квартала тупик
и самую малость порога,

и ключик блеснет на седьмом этаже,
закончив полуночный рейс,
и скрипнет трамвай на крутом вираже,
в старый вгрызаясь рельс,

а я постою здесь за тенью домов,
всего лишь в одном переулке,
побуду бродягой в кольце тупиков,
ключами звеня в полушубке.

«Мы утечем из тесноты...»

Мы утечем из тесноты
вдоль веточек ольховых,
от этой вечной суеты —
к дыханию основы,

где даже в трещинах коры,
выписывая вечность,
дрожат пустоты до поры,
рождая безупречность,

там отсвет с дальних берегов
ложится неопасно,
и всякий трепетный листок
становится согласным,

в бездонной этой тишине,
в зазорах, сжатых тенью,
мы сразу будем прощены
и преданы цветенью,

и это будет тот побег,
где вместо точки в споре
мы искупаем целый век
в пульсирующем море.

«Пустое гадание – искать в букваре...»

Пустое гадание – искать в букваре
направления, дороги и смыслы,
ветер качает на старом дворе
полыни сухие кисти,

память, как старая пряжа, бледна,
все стрижет васильковое поле,
но мне не добраться туда никак
сквозь гравий и осыпи соли.

Там, где туман наплзает на склон,
мешая земное с небесным,
слышу, как бьет колокольный звон —
раскатом в пространстве тесном.

Ты далеко, на другом берегу,
сжимаешь в ладонях затишье,
я этот берег в себе берегу,
и ты этот звон услышишь.

«Опять эти сумерки. Снег, как подтирка...»

Опять эти сумерки. Снег, как подтирка
заполняет колеиный заброшенный ров,
жизнь – не судьба, а сплошная притирка
к холодному гулу больших
городов.

Там, где дурел светофор от бессменки,
вливаясь ледышкой в свинцовую муть,
футляр одиноко лежал у стенки,
и даже не думалось в него заглянуть.

Но поднят. Струна отозвалась некстати,
как вздох из-под спуда, как рокот в груди.
как содрогание в зимней печати,
как понимание, что все позади,

звук этот разный, горький и честный,
и запах махорки, и мерзлых перил,
с ним пел пассажир, никому не известный,
он в тамбуре долго и нервно курил,

в нем пела душа об отыгранном праве
вернуться туда, где так много друзей,
где скрипки покоятся в разных оправах,
и намертво вмерзших нету дверей.

Шел к дому футляр, провожаемый вьюгой,
та нещадно мешала сыпные огни
со снежной оскольчато-колкой пудрой,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.